



Леонид БОРОДИН

ПЕРЕД СУДОМ

Повесть

Слово «бандеровец» я знал с детства. Человек, который хуже бандита. В мордовском политлагере я встретился с ними.

Всякое сколько-нибудь значимое социальное движение с неизбежностью всасывает в себя весь спектр общества, которым порождено. Среди них были разные. Среди нас — тоже. Судят по лучшим. Нас, к примеру, судят не по тем, кто однажды в долгие застойные «делал политический свисток», чтобы облегчить побег и обеспечить себя должностной встречей за рубежом.

Мне повезло встретиться с лучшими среди бандеровцев. Назову одного — Михаил Михайлович Сорока, умерший в лагере, если не ошибаюсь, на сороковом году своего заключения.

Разномысле в лагере было под стать нынешнему, всероссийскому. М. М. Сороку уважали все. Меня заинтересовало происходившее на Украине в послевоенные годы. Информацию получал разную, порой противоречивую. Спорил, возражал, с чем-то соглашался, с чем-то упорно нет. И сегодня не без тревоги предлагаю читателям «Юности» свою первую писательскую попытку. Время написания повести 1969 г. Место — лагерь политзаключенных № 17-а. Рукопись сохранилась случайно. Вывезли друзья и возвратили. Ничего не менял, хотя был соблазн подкорректировать с учетом теперешней обстановки.

Если жизнь чему-нибудь и научила меня, так это — недоверию к черно-белому ее истолкованию. Когда судьбой и обстоятельствами заброшен в «черные» или «белые», тут уже что говорить — не до плюрализма! Во всех же остальных случаях... По-моему, именно в этих «случаях» и возможна собственно литература. А не соцреализм. Литература, как особым образом организованный поиск истины, но вовсе нестина сама. Хочу надеяться, что с таких позиций и будет прочитана моя повесть.

Автор

Рисунок Вячеслава Лосева
Фото Юрия Садовникова

Какого цвета бывает предчувствие? Разного, наверное! Грязно-серое, пухлое, клочками, с мазками черными, тупыми; одним словом, паучье что-то — это предчувствие беды. А хорошее предчувствие — это, конечно, голубая, тонкая, ослепительная, вдруг обнаруженная и следующим движением потерянная щель в старом чердаке. А может быть, вовсе никакого предчувствия не существует, а есть лишь глубоко упрятанное знание последствий. Да ведь подумать только, если существует предчувствие случайного, совсем случайного, не имеющего никакой связи с прошлым и настоящим, то куда же деваться нам с нашими четкими формулами жизни? И что тогда думать нам о себе, о нашем опыте? И как и за что тогда нам уважать себя?

Нет, тайны не нужно, не нужно мистики, иначе трудно будет жить. А в жизни мы так много должны, нам так много надо. И мы давно и твердо знаем, что все, что нам надо и что мы делаем, — все это важно и существенно, даже первостепенно, а во всем прочем виновато наше несовершенство, в котором мы, откровенно говоря, не виноваты. И если еще откровеннее, то вообще нет вины, а есть лишь беда. А разница налицо. Вина требует осуждения, беда — сочувствия. Сочувствие не есть участие. Оно лучше, потому что бесполезнее, оно малинового цвета, оно такое мягкое и теплое, как ирландский свитер, как женщина, которую вы любите лишь чуть-чуть, как друг, которому вы ничем не обязаны...

Беда и сочувствие — это так понятно! Беда и участие — уже сложнее. Вина и участие — это уже мистика! Там и гнездится предчувствие, которое воистину рабство! Случись однажды ему исполниться — и пропало дело. И пропала радость жизни.

Взять бы, да раз и навсегда решить, что нет его, этого томящего, парализующего жжения, этой явной бесовщины (а как иначе), взять бы... Но нельзя! Ведь без всего бессознательного да подсознательного и человек уже не человек, а расчетная установка.

Нельзя...

I

«Газик» повернулся на центральный тракт. Сницаренко еще с километр вел машину, потом отдал руль Володе, пересел на заднее сиденье и попытался было заснуть, но тотчас же снова, откуда-то изнутри, вынырнуло и защипало сердце это тошнотворное ощущение где-то за плечом, над головой нависшей беды. Впервые оно появилось вчера, когда он получил вызов на совещание. Обыкновенный вызов на обыкновенное совещание. Но всю ночь ныла раненная нога, и утром проснулся с тем же ожиданием чего-то неприятного.

Но ведь есть же наконец мысль, трезвая, спокойная, беспристрастная! Нужно только отдаваться ей полностью, отключив эмоции, отбросив второстепенное. Нужно все спокойно, очень спокойно проанализировать, и тогда неясное станет ясным, а то, что им не станет, просто перестанет быть. Только так! Откинуться на сиденье, расслабить мускулы.

Вот так. А теперь можно спросить себя: так в чем же дело?

18 лет назад

— Дело вот в чем...

Шитов осторожно надел изящную хрустальную рюмку на горлышко бутылки, чуть отодвинул ее

в сторону, словно специально для того, чтобы между ним и Дмитрием не было никаких посторонних предметов, поставил локти на стол, хрустнул пальцами, уперся в них подбородком.

— Два месяца назад, а могу точнее, в ночь на шестнадцатое мая, между деревнями С-е и П-а неустановленными лицами были спилены пятьдесят два телеграфных столба. Диверсия не из самых страшных. Но, прибыв на место, я пришел к выводу, что это вообще не диверсия. То есть как факт ущерб, конечно, налил, но идея, так сказать, у бандитов была совсем другая. Ну-ка, прикиньте сами, лейтенант! Вы ставите перед собой задачу вывести из строя телеграфную линию. Как вы будете спиливать столбы? Учтите к тому же, что в вашем распоряжении ночь, а ведь еще нужно замести следы! Ну так как?

Дмитрий пожал плечами.

— Черт его знает как. Пилить да и все! Быстро — главное...

Шитов поморщился.

— Конечно же, нужно пилить так, чтобы столбы нельзя было больше использовать. Значит, как можно выше. Но представьте себе, столбы были срезаны на уровне земли, под корешок. Перекладины сбиты, но провода порваны лишь в нескольких местах. А что проще, как перервать провода! В общем, картина для меня была ясна!..

...Грешил Шитов. Картина стала для него ясна лишь на другой день, когда ему доложили, что следующей ночью исчезли столбы. Он тогда долго и зло кричал на уполномоченного. Если бы он сразу догадался и устроил засаду! Но не догадался, а лишь поехидничал в адрес неумелых диверсантов. Ведь назавтра линия была бы восстановлена. Была бы. Если бы не исчезли столбы. Пятьдесят два пятиметровых столба. И в его районе появился новый бункер с долговременной и прочной крепежкой.

Бункер — это пепелища от сельсоветов, это — трупы уполномоченных и партийных работников, это — враждебная литература, это — настороженное молчание деревень, это — многозначительный тон областного начальства, это — постоянное знание личной опасности, от которого устаешь...

Но нет, Шитов не сидел без дела. За эти два месяца ему все же удалось кое-что сделать, а теперь он намеревался пустить в ход главный козырь. Им должен был стать Дмитрий Сницаренко, лейтенант разведроты, украинец, харьковчанин двадцати четырех лет.

Было в нем что-то от гоголевского парубка, у которого природная мужественность подчеркивается не резкостью черт, а, напротив, вызывающей мягкостью и плавностью линий. Ну и соответствующая аттестация в деле — само собой. Теперь, если парень сработает точно, он, Шитов, без всех этих хлопотливых облав, зasad, погонь, без лишней суэты, разом и эффективно покончит с подпольем в районе. Вот так!

— Вот так! Общую ситуацию ты знаешь.

Шитов перешел на «ты». К этому привел двухчасовой разговор. К этому обязывали их будущие отношения.

— Ситуация в нашу пользу. Националисты на выдохе. Три года назад их основные силы прорвались через Чехословакию на Запад.

Их база — деревня, а деревня уже устает. Ни война ни мир, а уже сколько лет между двух огней. И перед нами задача — как можно быстрей, как можно эффективней, с минимумом потерь. Эффективность — наша главная агитка!

Шитов пододвинул бутылку, наполнил рюмки.

— За удачу!

Дмитрий потянулся было к нему, но Шитов остановил его, таинственно подмигивая.

— Э...э! Не так! Это же хрусталь! Немецкий! Возьми ножку только двумя пальцами, легко... не сжимай, чуть-чуть поддерживай равновесие! Молодец! Теперь подводи рюмку снизу, чтобы они коснулись краями, только коснулись, как чайка волны... и... вверх! Ну!

Тонкий, нежный, мелодичный звук возник над столом, всплыл к потолку, проплыл вдоль комнаты и ушел в окно.

— Камертон! — ухмыляясь, почти прошептал Шитов. Потом он еще некоторое время пристально рассматривал рюмку, как бы пытаясь постичь тайну немецкого хрустала, и вдруг тут же с размаху швырнул ее в свободную от мебели и декораций стену сзади Дмитрия. Тот вопросительно взглянул на своего начальника.

— Валяй!

Вторая рюмка последовала за первой...

Проводив Дмитрия, Шитов сначала веником собрал осколки стекла, намел их на кусок газеты, унес на кухню. Потом достал из серванта рюмку — точного близнеца только что разбитым, — наполнил ее, на ходу отпивая маленькими глотками, подошел к дивану, лег с ногами, потом пустую рюмку опустил на коврик...

Оставалось продумать немногое, но весьма существенное. Нужно было предусмотреть возможное вмешательство начальника Отдела по борьбе с бандитизмом Калиниченко. В области Шитову удалось пронюхать, что его новый коллега брошен в его район после какой-то темной истории, которая повлекла за собой гнев начальства и опалу.

Но Шитов — третий калач. Он знал, что гнев может быть гневом, опала — опалой, а своя рука во Львове у Калиниченко осталась наверняка.

А потому трудная задача перед Шитовым: с одной стороны, сохранить хорошие отношения, а это не так просто, ведь формально Калиниченко ему подчинен, с другой — удержать за собой инициативу в районе, что еще труднее, — начальник района ОББ фактически самостоятелен в действиях и, по существу, подчиняется областному ОББ. В пользу Шитова, что функции его и Калиниченко почти не разграничены, и, кроме того, как-никак, а оперативная работа — уж это его законные владения. Против Шитова положение об истребительных батальонах, которые столь же определенно отнесены в функции ОББ. Впрочем, эффективность этих отрядов в последнее время значительно снизилась, как и вообще всего ОББ. Кому судить, как не ему, Шитову! Он в районе с момента освобождения. Похоронил два состава своего отдела.

Вот в то время и были созданы в помощь органам отдель по борьбе с бандитизмом, тогда же сформированы первые истребительные батальоны из местного населения, в основном из молодежи. Но трудно было им тянуться с противником, у которого за плечами многолетний опыт подпольной борьбы.

Шитов много видел этих людей. И чаще видел их мертвыми. Они стрелялись в одиночку, взрывались группами в бункерах и подпольях, замерзали в зимние метели, уходя от преследования, прорываясь из окружения. Они расстреливали трусов и жестоко расправлялись с теми, кто отказывался им помогать или сотрудничал с врагом. Шитов не понимал их и не хотел понимать. Но он отдавал им должное, и это во многом определило его действия.

«Националистические банды» — так именовал он их в докладах и отчетах. «Жертвы буржуазной пропаганды» — это в беседах с местным населением, с тем самым населением, которому полагалось по совершен-

но точно доказанным теориям быть предельно лояльным к нему, Шитову, и предельно враждебным к «жертвам буржуазной пропаганды». И если бы только полагалось! Но от Шитова требовали и эту лояльность, и эту враждебность, к тому же — в массовом качестве!

Всякая примитивно-категорическая установка имеет и свои удобства. Хотя бы уже тем, что не проявляет особой щепетильности относительно чистоты методов. Шитов знал существующую систему как свои пять, потому он не корпел ночами над отчетами, а делал это походя, экспромтом, давно выработанным ключом. Он не валил на трудности, что особенно невпечатляюще в глазах начальства, не пересыпал фактами, что весьма утомительно для начальства, не давал слишком громких обещаний — когда слишком, то чревато... Он начинал с главного — вскрывал «прогрессивную тенденцию», а затем коротко, но убедительно доказывал соответствие своих действий данной «прогрессивной тенденции». Против «прогресса» начальство по крайней мере не рубит с плача. И потому капитан Шитов был на хорошем счету у начальства.

Было у него еще одно обстоятельство, делающее его позицию почти неуязвимой: Шитов не рвался на повышение, так как не обманывался относительно своих способностей.

Как удержать инициативу в своих руках в предстоящей операции? Вот над чем ломал он голову после ухода Дмитрия. Без Калиниченко ему не обойтись, но тогда придется пожертвовать информацией. Начнутся возражения, утряски, согласования. Калиниченко наверняка будет выговаривать себе соответствующую роль в деле.

Перед глазами Шитова возникло остроносое, остробородое лицо Калиниченко с постоянной настороженностью в глазах. Нет, его конкурент был явно поганый мужик. Женился на девчонке-психопатке, таскает ее с собой на операции, наверно, чтоб храбрее быть. А эта черномазая дурочка с него глаз не сводит. Еще бы! Герой! На коне, с пистолетом, сапоги — блеск, чуб на глаза! По их приезде был Шитов у них в гостях. Потом плевался всю ночь. Калиниченко сидел — будто лопату проглотил. Как ни старался Шитов упростить обстановку, все напрасно. Ушел, последней рюмки не допив...

...На кухне шаги. Вернулась Ирина. Шитов закрыл глаза, притворился спящим. Ирина заглянула в комнату, увидев Шитова в сапогах на диване, бесшумно подошла, взяла рюмку, поставила на стол, потом осторожно коснулась плеча мужа. Он не пошевелился. Тогда она так же осторожно, не спуская с него глаз, стала снимать с него сапог, но Шитов вдруг резко вскинулся, взревел, оскалился и схватил ее за руку. Ирина ахнула, вырвалась и бросилась от него к двери, но тут же остановилась и, повернувшись только головой, укоризненно посмотрела на катающегося по дивану от хохота Шитова. А он колотился всем своим грузным телом по пружинам и бил сапогами о круглый, обтянутый цветастым подлокотник дивана. Когда утих, задыхаясь и вытирая слезы, она все так же, не поворачиваясь, тихо, без обиды и вообще без всякого выражения в голосе сказала:

— Может злимите чоботи.

Шитов сбросил ноги, хлопнул ладонью по дивану.

— Сядь!

Она послушно, но без робости, села рядом, поправила юбку, сняла косынку на шею и, когда он обнял ее за плечи и повернул к себе, не отстранилась и не прильнула к нему, а лишь подалась чуть-чуть, ровно настолько, сколько нужно для того, чтобы выразить человеку свою верность и нежность.

— Хотила муки дистаты, две годины простояла в чрези, але мыни не дисталось... Ох, и моторошне житя...

Она говорила и смотрела на него прямо и спокойно. Такой вот взгляд сам по себе может составить целое счастье для мужчины, если ему за сорок и если он определенно знает, что он не Бонапарт. И неудивительно! Ведь в таком взгляде не отражается ничего, кроме самого тебя. Весь он всеми своими уголками заполнен только твоими думами и желаниями, а все другое и все другие — словно другое измерение...

Шитов считал, что ему повезло. Однако к этому везению он крепко приложил руку.

Во время одной облавы в деревне своего района он, окруженный автоматчиками, с пистолетом в руке ворвался в очередной дом. Первый же осмотр показал, что искомого нет. В доме вообще не было никого, кроме женщины, которая с самого начала и во время обыска и после него как встала в простенке между печкой и буфетом, так и стояла, сведя руки к подбородку, и, казалось, даже не смотрела на мечущихся по дому солдат. Шитов, обозленный неудачей, подскочил к ней и зарычал:

— Куда девала своего выродка?

Тогда она будто очнулась и посмотрела ему в глаза. И хотя в ее взгляде не было ни вражды, ни страха, Шитов тогда не обратил на нее внимания. Она была лишь одна из многих. Он что-то крикнул ей еще, она опустила глаза и, проследив ее ускользающий взгляд, Шитов увидел на чистом, выскошенном полу, на самодельных тряпичных ковриках лепешки грязи с сапог его солдат, с его собственных сапог.

— Одна я.

И снова она смотрела ему в глаза.

— Загубившись мий сын. Одна я.

В ту ночь Шитов притащил с собой в район целый хвост матерей, старииков, невест. Через день-другой этот хвост пополз назад по своим деревням, хатам. А ее, Ирину, Шитов держал в КПЗ, держал, злоупотребляя служебным положением, держал, нарушая законность (чего там законность!), держал, нарушая все, что можно нарушить в этом случае.

Сначала она нравилась ему, как нравились многие. А скорее всего, он только так думал, потому что с самого начала она уже не была для него как все.

Только первый допрос ее был собственно допросом. Шитов, как всегда в таких случаях, угрожал, хитрил, уговаривал, выспрашивал, сочувствовал. Со спокойной совестью он обещал ей, что, если она скажет, где ее сын, — отпустит его; или откровенно и цинично угрожал через несколько дней привезти труп ее сына. Она знала меньше него. Она больше, чем он, хотела знать о своем сыне. Открыла она ему совсем другое: оказалось, что Ирина есть та самая женщина, которая уже давно нужна ему, Шитову!

И если в первые дни он задерживал ее у себя, не признаваясь в собственной корысти, то потом уже делал это с наглым упрямством, отчетливо сознавая, чего хочет. И когда потом обещал ей спасти сына, если найдет его, то знал, что действительно спасет, что пойдет на любые нарушения и что даже готов нести ответственность за свои действия, которые, само собой, корыстны и преступны с точки зрения закона и совести.

Он искал ее сына, как искал бы своего собственного. Он даже начинал испытывать подобие отцовского чувства, был удивлен этим и даже расстроен.

Он отпустил ее и ждал целых четыре дня, если не все восемь, потому что почти не спал.

Она пришла к нему, и была радость. Потом была непривычная, противная дрожь в руках, когда просматривал списки убитых в других районах. В одном из них он нашел то, чего не хотел найти —

фамилию ее сына. Потом был тот страшный вечер, когда он, оставив список с подчеркнутой фамилией на столе, ушел и до закрытия просидел в единственном ресторане. Воистину был страшный вечер. Ведь не только все решалось, но и все проверялось: проверялось, искупит ли он, проверялось, повезло ли ему... В двенадцать ночи стоял он у поворота улицы, откуда, сделав еще два шага, можно было увидеть окна его квартиры. Они могли быть освещены. Они могли быть темны. Чтобы узнать, нужно было сделать всего два шага. И он струсили, он испугался ночи, которую ему, возможно, предстояло провести одному. Других ночных он не боялся. Только этой, первой... И он ушел закоулками к одному из своих сотрудников, холостяку, и просидел-пробредил у него до утра. Утром в шесть уже был у себя в кабинете. День промелькнул, как муха пыточная, и только в пять вечера он каким-то не своим, хриповатым голосом назвал телефонистке номер домашнего телефона.

Квартира ответила.

Когда, не сказав ни слова, он опустил трубку... несколько минут боролся с насморком и справился, потому как был мужчина, видавший многое...

Ну, а после он привык к своей удаче и позволял себе небрежность и грубость даже. Но все равно удача оставалась удачей: Шитову уже было за сорок, он не был Бонапартом и уже не наступал на жизнь, а только защищался от нее. А тому, кто защищается, нужно иметь, куда отступить. Тыл Шитову был обеспечен.

Сегодня у него хорошее настроение. А когда у Шитова хорошее настроение, он вот так, как сейчас, сажает Ирину около себя, гладит ей плечи и спрашивает, хихикая и подмигивая:

— А красивая ты была в девках, Ирка!

Она не рисуется и не прибедняется. Отвечает просто.

— Яка корысть з мией красы.

Тогда он крепче сжимает ее плечи, нарочито насыпясь, говорит:

— А вот завтра отстрелит мне ваша шпана ногу или руку, ведь знаю, убежишь! Убежишь?

— Як що сами не прогоните, то и я не уйду.

— Любиш? — глупо спрашивает он.

— А чому мени не любити вас? Вы добрый.

— Добрый! — хмурится он.— Я людей убиваю!

— Вись світ в крові,— говорит она тихо.

Вот так обстояло дело с личным вопросом у начальника районного отделения МГБ Ильи Захаровича Шитова. Была у него служба, к которой он относился добросовестно, были у него враги, с которыми он был не более жесток, чем все его время, была у него женщина, для которой он был добрый...

Но был и начальник районного отделения ОББ Калиниченко, хлюст и высокочка, которого нужно было во что бы то ни стало обойти и оставить с носом, или гроши цена Шитову в базарный день!

И как раз когда он обнимал Ирину, когда купался в теплом смородиновом море ее взгляда, когда уже оставалось только захлебнуться и исчезнуть, тогда-то, черт возьми, и пришла ему в голову отличная мысль, и настолько она была отличной, что Шитов неожиданно даже, что она появилась не вовремя, откровенно говоря, совсем не вовремя. Но она пришла и осенила, и Шитов, бросив Ирину, вскочил с дивана, махнул через комнату и коршуном упал на телефон...

II

Вокруг, куда ни глянь, холмистое, сытое, пестрое тело полей.

Деревня в одну улицу на полтора километра. До-

мишки с окошками, как косточки домино. По обоим краям ленты домов и палисадников взбившейся зеленой пеной — сады, между ними — квадраты и прямоугольники огородов.

В деревне — ни суэты, ни шума. Деревне нужна тишина, чтобы слушать голоса полей и колокольный звон из-за холмов. А все голоса и шумы, какие бывают здесь, — это лишь подголоски одной большой зеленой тишины, той, что своим ароматом заполняет все и вширь и вверх до самого неба, где оседает голубым, опрокинутым кристаллом.

Ночью, когда тишина уходит в темноту и небытие, этот кристалл миллионами глаз щурится вниз, в пустоту, растворившую в себе формы, цвета, звуки, потом падает на землю белым рассветом, воссоздавая заново все, что было до этой ночи, распадаясь спектром земной пестроты. Ежедневное рождение чуда начинается с косого холма, куда тупым концом нацелена деревня, куда она пытается доползти, а пока лишь замахивается на него засушенным щупальцем дороги.

На том месте, где щупальце перекатывается на другой склон холма, в тот час и миг, когда с восточного горизонта бесшумно откалывается и падает, рассыпаясь, первый пласт утреннего тумана... однажды в это самое время там появился и замер всадник...

Потоптавшись на месте, он уже через мгновение нырнул в долину, еще лежащую во мраке, досматривающую утренние сны. Галопом влетел он в темный коридор домов и заборов, встревожив дворовых собак. Где-то на середине деревни он повернулся коня, метнулся было назад, но остановился, словно решая что-то. Еще раз развернулся коня и снова поехал вперед, теперь уже шагом, подъезжая то к одному, то к другому дому или забору, пока вдруг чуть не врезался в молчаливую парочку, прижалась к дощатой калитке.

— Где дом Петра Гнатюка? — спросил он тихо.

Ему не ответили. Люди деревни не любили незнакомых, задающих вопросы.

— Вы что, оглохли? — зло прошипел всадник.

— Четвертый дом с того краю.

Ответила девушка.

Через минуту он уже стучал рукояткой большого нагана в раму темного окна, за которым проснулись подозрительно быстро, а отзвуки возникшей суэты слышались сквозь рамы.

Вышедший был старик или казался им в перекрестках розовых языков качающейся лампы. Он подошел вплотную к незнакомцу, поднял лампу и хотел было поднести ее к лицу незнакомца, но крепкие пальцы сжали его руку выше кисти, и лихтарня подлась в обратном направлении, чуть ли не к носу старика, так что он вынужден был зажмуриться и отпрянуть. Однако старик опомнился быстро и не без угрозы, но спокойно потребовал:

— Пусти руку!

— К обеду, Гнатюк, жди гостей. А родственникам лучше убраться...

И хотя лишь мгновение потребовалось незнакомцу, чтобы вскочить в седло и бросить коня в темноту, но старик успел вскинуть лихтарню и обомлел, увидев хромовые офицерские сапоги и офицерские галифе из-под кожаной куртки всадника. Впрочем, едва ли тот хотел скрыть от взора старика свою одежду. Он мог бы переодеться заранее. Что проще. А вот лицо свое он скрывал, но недооценил цепкость глаз старого Гнатюка...

Через минуту-другую ночной гость уже вспорхнул маленькой тенью на горбу восточного холма и тотчас же упал по ту сторону его.

Тогда старик поспешно засеменил по двору, почти вбежал на крыльцо. Последний раз качнулись тени построек и заборов, и дверь поглотила старика с лампой. А через некоторое время из этой же двери вышли

во двор шесть человек, одетых явно не по сезону. Четверо держали навскидку автоматы, в темноте похожие на остывшие головешки, а у двоих автоматы были за плечами, — руки им чуть не до колен оттягивали пузатые корзины. Молча, цепочкой, прошли они в глубь двора, через низкую калитку в сад.

III

Шитов нервничал. Он уже знал, что Калиниченко несколько минут назад вернулся. Все должно было пройти как по нотам. Осечка почти исключалась, а Шитов все же нервничал. Слишком крупную игру он затянул, ставки предельные, а привычки к такому у него нет. Было страшновато, но в то же время он испытывал головокружительную радость от сознания, что сам решился на такую авантюру, сам додумался до нее, взял на себя все. Все! Оказывается, очень даже приятно — брать на себя все, есть в этом что-то омолаживающее, бодрящее.

Пусть такие вот Калиниченко ломают дрова, а кто из них выживет, еще неизвестно.

От мысли о Калиниченко снова засосало под ложечкой. И в тот же момент он услышал четкие, твердые шаги в коридоре. Отворилась дверь, и без стука и приветствия в кабинет вошел Калиниченко.

Да! На него стоило посмотреть! Желваки метались на острых скулах, острый нос обострился еще больше, а кончик его побелел, как от мороза. Глаза зрачками двусторонки дали дуплет по Шитову и уперлись в бюст Дзержинского, что в простенке за щитовским столом. Вонзенные в планшетку пальцы выпяченными суставами кричали о ярости и еще о чем-то, от чего Шитов вдруг почувствовал, что в кабинете у него прохладнее обычного.

— Что случилось, Василий Григорьевич? — спросил Шитов. И это получилось у него очень естественно, хотя именно первого вопроса он больше всего боялся.

Тонкие бледные губы дрогнули и со скрипом выбросили:

— Пусто.

— Ушли! — ахнул Шитов опять очень естественно.

— От меня не уходят! В три часа утра кто-то верхом приезжал в деревню со стороны района и предупредил Гнатюка.

«Вот гад, даже время установил!» — с ненавистью подумал Шитов, участливо и деловито взглядываясь в лицо начальника ОББ.

— Я располагал абсолютно точными сведениями, — вырубил Калиниченко, а Шитов злорадно ухмыльнулся про себя: «Еще бы неточными, сам тебе их подкинул! Дурак ты, братец, как есть дурак, несмотря на весь твой фасон! Хлюст!»

Однако в кабинете становилось все холоднее и холоднее. Шитов поежился, в то же время мимикой изображая напряженную работу мысли.

— Ваши предложения? — спросил он просто и деловито. И снова порадовался за себя.

Калиниченко поднялся, положил планшет на стол, обошел Шитова и остановился перед бюстом «железного Феликса» в позе испрашивавшего благословение.

Когда такой тип заходит вам за спину — ощущение не из приятных. Но Шитов не шелохнулся и не повернулся головы, лишь сксался так, что прошел озноб, и даже как-то не заметил, когда Калиниченко снова появился перед ним в кресле.

— Кто знал о предстоящей операции, Илья Захарович?

Шитов побагровел. В эту минуту он даже как-то забыл, что сам — автор этой комедии, и почувствовал неподдельную ярость. Щенок! Подозревает его и даже не считает нужным это скрывать! С каким удоволь-

ствием двинул бы Шитов тяжелым мраморным пресс-папье по барсучьей физиономии начальника ОББ, или просто по-мужицки обработал бы кулачищами, или всадил бы пол-обоймы в этот гладкий обтянутый лоб!

Но не двинул, не обработал и не всадил, а наоборот, сказал тоном наставника и старшего по должности:

— Не горячитесь, Василий Григорьевич! Если у вас есть какие-то предположения, давайте их обсудим. Что вам известно об этом ночном всаднике?

Трудный тип! Но чего, собственно, ему бояться! У Калиниченко ведь нет никаких доказательств, хотя промах уже сделан: кто-то видел Дмитрия. Даже в самом худшем случае Шитов выкрутится перед начальством. Так было нужно, и он не обязан посвящать во все свои дела и планы начальника ОББ.

Логика придала Шитову уверенности. Он в полный рост встал из-за стола.

— А самое лучшее, мне думается, Василий Григорьевич, вам сейчас отдохнуть. Утром мы с вами на трезвую голову все обсудим.

— Кто этот лейтенант, которого вы мне дали на облаву?

— Лейтенант Сницаренко послан областью для ознакомления с ситуацией. Кажется, его хотят назначить в какой-то район, а у нас он должен набраться ума. Ваша неудача сегодня для него, конечно, полезный урок. Впрочем, вы можете изложить свои соображения областному начальству, если вы имеете что-нибудь против него. Но, сами понимаете, это — путь скользкий...

Прямое попадание. Калиниченко обмяк, глаза потухли, плечи опустились. Теперь он был похож на ястреба, который волка принял за кролика. Он встал, сухо попрощался и вышел из кабинета.

И лишь когда шаги его затихли в конце коридора, Шитов облегченно опустился в кресло, собираясь по-смаковать победу. Но, однако, кроме усталости ничего не чувствовал. Незнакомая ранее апатия опутала все тело и душу. И ни капли удовлетворения, ни капли радости — только равнодушие и усталость...

Не по плечу взял себе нагрузку Илья Захарович. Не по себе. Привык он жить прямо, рубить с плеча, хитрить только согласно инструкции, обманывать тоже только в согласии с ней, если нарушать, так в открытую, в наглую, плюя на все. Некоторая доза нарушений и своееволия предусматривалась его должностью. Ему этой дозы хватало. Да и вся его работа характером своим, своими методами и принципами затушевывала разницу между законом и нарушением закона, потому что работа его была борьбой, а в борьбе важен итог. Работа требовала от Шитова инициативы, и он проявлял ее ровно настолько, насколько нужно, чтобы сохранить голову. И самое главное: его отдел всегда был ему домом, его сотрудники — союзниками. В доме он был хозяин, среди сотрудников — господин. Теперь же все шиворот-навыворот, все переместились, новый характер опасности требовал молодости и наглости больше обычного. А Шитову было под пятьдесят и дальше майора ему все равно было не подняться...

Ирина встретила его молча. Сразу же стала накрывать на стол и, только один раз внимательно взглянув на мужа, достала из буфета початую бутылку коньяка, рюмку, поставила их рядом с тарелкой и молча встала около стола, ожидая, когда Шитов умоется и переоденется.

Бутылку он заметил сразу, и сразу же легче стало. Дело не в коньяке, дело в Ирине, в его чудесной жене, которая понимает его без слов. Жена — его единственный верный союзник! Он подошел к ней, мягко взял за плечи, потом в ладони лицо, губами прошелся по стрельчатым бровям, по морщинкам, крепко-крепко прижал к себе.

— Теплая ты у меня, Ирка! Замерз бы я без тебя, начисто замерз! Не люди кругом, а льдины колотые. Уедем мы скоро с тобой отсюда. Еще немного и уедем. В Расею-матушку. Опротивели мне твои холы! Речи русской хочу! Надоели ваши «тильки-скильки»! Душу воротит! И ты по-русски выучишься, да? Она кивнула.

— Это хорошо, что ты мало говоришь! У всех языки, как боталы, а о чем мелют, черт знает! Купим в России дом, огород будет, сад! Работать будем! Я ведь еще сильный! Чего лыбишься? Не веришь?

Шитов нагнулся, подхватил ее на руки, крутнулся по комнате. И она, обхватив его шею, прижалась к шершавой щеке. Он почувствовал ее слезы где-то у подбородка и понял их, потому что не баловал ее лаской... Наконец он опустил ее на пол, а она прижалась ухом к его груди, где позорно трепыхалось стареющее сердце, и смеялась она так же редко, как редко ласкал ее муж...

— Ничего! Ничего! Сердце — дело поправимое! Лопату в руки — и норма! Я землю знаю! С нее жизнь начинал! Знаешь, какие мозоли были? Бритвой режь! Да вот кровь людская быстро стирает их. Эх, сколько крови-то я пролил, Ирка! Время такое... Под старость буду эту кровь мозолями оттирать... Клин клином!

Хотел Шитов сказать еще: «Сына бы нам!» — но не сказал, вспомнил, как деревенеет лицо Ирины при этих словах. Пожалел ее. Подошел к буфету, вынул еще две рюмки и поставил их на стол. Потом подставил еще два стула к столу.

— Лейтенант придет.

Покраснела Ирина — никогда он не сажал ее за стол, когда приходил кто-нибудь из его сотрудников. Сегодня был для нее особенный день.

Дмитрий пришел озабоченный, Шитов заметил это и уже через несколько минут бесцеремонно отоспал Ирину.

Дмитрий подробно отвечал на вопросы, рассказывал сам, но чего-то недоговаривал или сомневался в чем-то...

Операцию Калиниченко организовал блестяще. Из района выехал не напрямую, а заехал в две деревни, что восточнее, и пополнил свой отряд десятком лучших людей из истребительных батальонов этих деревень. К дому Гнатюка подлетел вихрем. Мгновенно отрезал дом от огородов, кукурузного поля, соседних домов. Мышь не проскользнула бы сквозь его железные клещи. Один вошел во двор и дал очередь из автомата по печной трубе. Дмитрий оценил правильно. Это не было бравадой и лихачеством. Перепуганные Гнатюк, его жена, сын — мальчишка лет шестнадцати — буквально вывалились во двор. Калиниченко схватил старика за ворот, тряхнул так, что у того подкосились ноги, швырнул его на землю и спросил, как выстрелил:

— Где?

Ну, а дальше началась комедия, которая понятна была одному Дмитрию. И если он не мог не восхищаться актерством Гнатюка, то все же ему было не по себе оттого, что с Калиниченко, храбрым, опытным офицером, поступили как с мальчишкой, тем более что ему не совсем был ясен смысл шитовского плана. А положение, в которое попал начальник ОББ, было архидурацким.

Серым стал Калиниченко от злости и стыда. Когда уже все поняли, что дело не выгорело, он метался по двору, налетал то на старика, то на старуху, то на парнишку (тот держался нагло, злорадства не скры-

вал), а под конец сделал уже совершенную глупость: застрелил собаку, красивого, лохматого пса с коричневыми подглазниками. Вот тут-то и взбунтовался старый Гнатюк. Страха на лице как не бывало. Размахивая руками, он подскочил к Калиниченко и начал кричать ему в лицо, что будет жаловаться, что капитан ответит за беззаконие, что советская власть не позволит обижать честных людей... Калиниченко дал старику выговориться, не спуская с него глаз, а когда он закашлялся от крика, приказал арестовать его. Потом, уединившись в сельсовете, два часа допрашивал по какой-то ему понятной системе жителей деревни. В итоге забрал еще какого-то парня, и отряд двинулся в район.

...Шитов насторожился. Калиниченко не сказал ему, что арестовал Гнатюка. Парень-то, конечно, тот, у которого Дмитрий спрашивал про дом Гнатюка. Шитов не мог простить себе, что не дал Дмитрию точного адреса, и получилось, что Дмитрий, въехав в деревню, не смог определить, с какого края считать ему четвертый дом. Ошибка на уровне новичка.

— Гнатюк узнал тебя, как думаешь?

— Узнал, пожалуй, — подумав, ответил Дмитрий. — Был один взгляд.

— Плохо.

Шитов швырнул окурок в пепельницу, но промахнулся.

— Дрянь дело!

— Почему? — спросил Дмитрий.

— Калиниченко может расколоть старика.

Дмитрий, наконец, решился спросить:

— Илья Захарович, а что вы не хотите включить его в операцию? Мужик он дельный, правда, мне кажется, что грубостью он вредит отчасти, но вы бы видели, как Гнатюки разыгрывали из себя невинных! Я и не знаю, как с ними можно иначе, может быть, не в свое дело суюсь, но...

Шитов перебил его.

— С ними можно и нужно иначе... Про Калиниченко ничего сказать не могу. План операции разрабатывался не только мной.

Будь Дмитрий поопытней, он бы, конечно, уловил фальшив в словах Шитова. Да и последний вариант с облавой возник неожиданно и исходил явно от Шитова. Но у Дмитрия сохранилась еще закваска фронтовых условий. Он привык выполнять приказы и не привык обсуждать их.

А Шитов уже давал указания.

Потом они выпивали. Шитов заставил Дмитрия рассказать о некоторых его похождениях в разведдроте, за которые у него были награды. Были уже оба под хмельком, когда во втором часу, как петушок царя Додона, затрепыхался телефон...

Калиниченко не извинился за позднее время и вышел всего одну, но почти ультимативную фразу:

— Совершенно неотложное дело. Через десять минут буду у вас.

И тут же трубка по-цыплячьи пискнула в ухо Шитову.

— С ним не соскучишься! — мрачно проговорил Шитов. — Расколол-таки Гнатюка. Представляю, как он его обработал!

— Вы думаете, он его бил?! — как-то испуганно и в то же время недоумевая спросил Дмитрий.

Шитов посмотрел на него, как смотрят на детей, спрашивающих про ребенка и капусту, и махнул рукой.

— А ну давай в ту комнату да сиди тихо. Недооценил я этого хлюста! Ирина!

Ирина появилась мгновенно, точно все это время только и ждала, когда ее позовут.

— Все со стола! Быстро! Да шевелись же ты!

Дмитрию:

— Иди! Иди! И чтоб ни звука!

Сам схватил пепельницу, опростал ее, растаскал стулья, внимательно осмотрел комнату, коврик у двери; потянул носом воздух, поморщился, подошел к буфету, открыл флякон одеколона и, прикрывая отверстие пальцем, несколько раз махнул вдоль комнаты. И наконец, подставив стул к радиоприемнику, сел рядом и начал гонять регулятором по шкале волн. Но вдруг вскочил, подбежал к буфету и из самого нижнего отделения, откуда-то изнутри вытащил маленький браунинг и зачем-то сунул его в карман брюк.

Дверь открывала Ирина. Калинченко быстро вошел в комнату и без всякого вступления, как всегда сухо, но не без торжества или самодовольства:

— Лейтенант Сницаренко — бандеровский агент. И думаю, крупного масштаба. Гнатюк узнал его. Через полчаса я найду лошадь, на которой он ездил в деревню.

— Значит, Гнатюк признался, что опознал в ночном госте нашего работника?

— Да.

— Признался сам или вы убедили его признаться?

Это был пустой ход. Шитов понимал. Но нужно было время, чтобы принять решение.

Физиономия Калинченко засверкала наглостью, вызовом и уверенностью в себе.

— Я не убеждал его, Илья Захарович. Это дело следователя, а не мое. Я просто спустил его с лестницы. Мне не нужны его показания, повторяю, это дело следователя. Мне нужно было имя. Я его получил. Завтра утром Гнатюк может отказаться от своих слов, но завтра у меня в руках будут неопровергимые доказательства. А сейчас я настаиваю на аресте Сницаренко и, не желая устраивать дебаты, ставлю вас в известность, что в случае вашего отказа буду сразу же звонить в область.

Это хорошо, что он говорил так долго. Шитов принял решение.

— Звонить в область буду я. Вам же приказываю задержать, подчеркиваю, задержать лейтенанта Сницаренко, но так, чтобы волос не упал с его головы! Сумеете?

— Сумею.

В этом высокочке все-таки было что-то человеческое. Потому что Шитов явно увидел после своего приказа на лице начальника ОББ просто радость понятого человека. Увидел и впервые подумал, что не нужно было ему затевать всю эту историю, что, может быть, и сработались бы... Знал Шитов: наглые в этом мире только сильные. Конечно, бывают еще и так называемые «идейные», но «идейные» не выживают, когда спотыкаются. Калинченко выжил. Значит, у него есть козыри.

Ну, да что теперь думать об этом! Теперь поздно и надо продолжать игру. Выигрыш окупит все.

Калинченко ушел. Из смежной комнаты появился растерянный Дмитрий.

— Что будем делать, Илья Захарович? Я что-то ничего не понимаю!

Шитов нервно курил.

— И понимать нечего!

Он подошел к столу, некоторое время рылся там, достал и развернул на столе карту, потом достал оттуда же компас, проверил его, положил на стол.

— Сейчас ты выйдешь из моего дома и пойдешь по этой улице. Держись забора. Улицей попадешь в парк. За парком лес, за лесом кладбище. Пойдешь по компасу на юг километров шесть напрямую. Подойдешь как раз к тому краю деревни, где дом Гнатюка. Утром ты должен быть в бункере!

— Но, Илья Захарович! Гнатюка же ведь нет!

— Нет. Но есть его сын, есть жена. Или ты думаешь, они меньше знают, чем старик! Дави на обоих. Нагони страха за старика. Любыми путями — к утру в бункер! Утром Калинченко может нагрянуть в село. В худшем случае, только в худшем, сразу не сдавайся... Пару выстрелов в воздух...

Видимо, Шитов пожалел о последней фразе, потому добавил:

— Ну, в общем, я этот вариант исключаю. Ты должен быть в бункере. На подходе компас выбрось.

Шитов сунулся было в карман, но замял это движение, для видимости вышел в соседнюю комнату, постоял там минуту и вышел к Дмитрию с браунингом в руке.

— Возьми.

— Зачем? У меня есть.

— Возьми! Он приносит удачу. Счастливый. Проверено. А теперь сядь перед дорогой.

Увидев, что в комнату вошла Ирина и стоит, рявкнул: «Сядь!»

Ушел Дмитрий Сницаренко от Шитова так же, как и пришел, — через запасной выход...

IV

Когда подъезжаешь к незнакомому городу, всегда испытываешь радость, даже если в этот город гонит тебя беда. Незнакомый город заманчив, как таинственный лабиринт. Каждый город — немного загадка, потому что это не просто количество домов и людей, но непременно кусочек истории, непременно какие-то имена, ну а потом у каждого города есть свое лицо, свой смысл, и смысл этот открывается постепенно, когда покидаешь вокзал, который, как правило, в стороне, и идешь наугад, на ощупь, и чувствуешь учащение пульса жизни города, и, руководимый одним этим чутьем, не обращаясь ни к прохожим, ни к указателям, подходишь, наконец, к главным артериям. А потом поворот, еще поворот — и ты лицом к лицу с сердцем этого огромного, распластавшегося на сто сторон существа, именуемого городом. Теперь, чтобы отгадать загадку, уловить смысл, нужно идти очень медленно, смотреть внимательно, читать каждую вывеску, каждый указатель, каждую афишу да как можно чаще смотреть в лица прохожим, и не только в лица — моды сезона тоже не последний фактор.

Ну а когда с нового города начинается жизнь; когда ты твердо уверен, что самое необыкновенное должно произойти с тобой именно в этом городе, и если к тому же в сердце еще ни одной утраты, ни одной разлуки, ни одного разочарования, а лишь восторженная расположленность ко всему миру, ко всему в мире, то разве ты сможешь скрыть от посторонних волнение и радость, делая первые шаги по первым привокзальным улицам незнакомого города!

А Таня ничего и не скрывала. С откровенным любопытством рассматривала она прохожих, бесцеремонно задирала голову под вывесками и мемориальными досками и улыбалась каждому, кто обращал на нее внимание. Не было объяснения незнакомому, но радостному чувству тепла, что проникало в сердце, ашло от города, совсем чужого, совсем непонятного...

Здесь, на этих улицах, в этих домах ей предстояло жить. Лечить людей, что проходят мимо, спешить на помощь в эти подъезды, пролеты, проходные дворы. Она была уверена, что город примет ее, потому что она уже полюбила его, необыкновенный город на холмах и под холмами. Она знала, что все будет хорошо, да все и так уже было хорошо. Плохо, что она одна и не с кем поделиться радостью, некого просто так обнять и расцеловать и увидеть свою радость в улыбке и глазах другого...



Вверх по проулку от ратуши она пересекла трамвайную линию и зашла в небольшой сквер отдохнуть и перекусить. Но скамеек в сквере было мало, свободных же вовсе не было. Наконец, она пристроилась на краю одной скамейки, открыла сумочку, занялась завтраком, что состоял из двух домашних пирожков. Один, подумав, она положила назад.

Напротив нее на освободившийся край скамейки как-то с разбегу не то что сел, а будто упал высокий молодой мужчина в офицерских сапогах, в желтой кожаной куртке с косыми карманами. Он сел, и локти уперлись в колени, а ладони закрыли лицо, словно он собирался не просто заплакать, а навзрыд, по-бабы, зареветь. Но — глупости! Реветь он, конечно, не собирался, а просто замер в этой позе, светло-русый чуб его сполз на руки и прикрыл их тонкие длинные пальцы. Поза могла означать только одно — беду. Это, видимо, заметили и соседи по скамейке. Они покосились на него и почему-то чуть-чуть отодвинулись, может быть, из предубеждения, что беда заразна, может быть, по другой причине. Во всяком случае, сочувствия на их лицах не было, и Таня стало немного

досадно за людей. Прошло несколько минут, а мужчина по-прежнему сидел в той же позе, не пошевелившись. Таня пыталась представить, что могло произойти, что могло случиться у этого человека такого, что заставило его забыть обо всем вокруг и так вот захлестнуть ладонями лицо.

Но что гадать? Таня встала и направилась к выходу из сквера, но вдруг остановилась и неожиданно для себя самой, замирая от собственной смелости, подошла к мужчине на скамейке.

— Извините, пожалуйста.

Мужчина поднял голову и некоторое время отсутствующе смотрел на нее. Он оказался совсем молодым и очень красивым, и Таня смутилась и растерялась.

Вот в его светлых глазах исчезла отрешенность, так поразившая Таню, сменилась сначала удивлением, потом вежливым вниманием.

— Вы не скажете, как пройти вон на ту гору?

Таня указала рукой на лесистый холм, что возвышался над городом в самом его конце.

— Высокий Замок?

— Как? — переспросила Таня.

— Этот холм называется Высоким Замком.

Ему неудобно было сидеть перед ней, он встал и оказался чуть ли не на голову выше нее.

— Можно проехать трамваем до переезда, — не очень уверенно начал он. Но вдруг прямо и пристально посмотрел на Таню, так, что она захотела провалиться сквозь землю.

— Спасибо, — бросила она тихо и почти побежала, чувствуя на себе взгляды сидящих на скамейках.

Но приключения только начинались.

— Пойдем. Мне тоже нужно на Высокий Замок.

Он стоял перед ней. А фраза была сказана таким исключающим отказ тоном, каким говорят только сильные и бесхитростные мужчины. Такой тон даже не допускает мысли о корысти или подвохе.

Когда они через весь город подошли к железнодорожному переезду, от которого начинался подъем на Высокий Замок, она уже выложила ему и о своих родителях, и о жизни в эвакуации в Сибири, и о медицинском училище, которое окончила, и Бог знает о чем еще она успела наболтать ему, в то время как он не сказал ей о себе ничего, кроме имени. Его звали Василь. Когда поднимались на холм, она замолчала. И испугалась его молчания. Но, взглянув будто случайно ему в лицо, успокоилась и только ругала себя за болтливость.

Дух захватило — какая красота открылась ей с вершины холма. Хотя она и приказала себе молчать, пока он не заговорит, но не удержалась и выдохнула что-то вроде: «Ой, как здорово!» Но осеклась, оглянувшись на своего спутника.

Настороженным, враждебным взглядом, сдвинув брови, смотрел он вниз на море зелени, в котором, как корабли в гавани, замерли на якорях разнофасонные крыши и башенки церквей.

— Разве не красиво? — попыталась Таня выяснить причину этого холодного, как щтык, взгляда.

Он не изменил ни позы, ни взгляда и ответил, будто продолжал думать, только теперь вслух.

— Красиво? Может быть, кому-то этот город просто красивый. А для меня это город врага, который в нем под каждой крышей... Воля моя, так я бы эту красоту трактором пропахал по квадратам, чтобы дышать легче, чтоб не ждать выстрела из-под каждой яблони, из-за каждого забора. Киев в развалинах, Сталинград в развалинах, а этот — как мещанин, отсидевшийся в подвале!

Он замолчал. Таня его слова были непонятны, но спрашивать она не решилась. Он говорил сам. Он говорил о фашистских прислужниках и недобитых кулаках, о наемных убийцах и о продажных агентах, о мужественных чекистах и о трусливом населении, лишь из-под палки помогающем правому делу. Он говорил о недомыслии кое-кого в руководстве, мешающем таким, как он, безжалостно выкорчевывать врага. Говорил о необходимости красного террора и партийной чистке.

Говорил с такой болью в голосе, с такой искренностью и убежденностью, что Таня, еще не понимая сути, уже сочувствовала ему, уже разделяла его боль и досаду...

В человеке нас чаще всего располагает к себе цельность натуры, одержимость и искренность. В этих качествах — сама по себе существующая ценность. Мы воспринимаем ее как нечто эстетически бесспорное. Покоряемся воле и силе этих качеств.

Священный идеализм духа! Разве не он породил в мире и самое святое добро, и самое чудовищное зло! Но кто не склонялся перед ним, кто не трепетал и не загорался! Разве только ленивцы да неудачники?

Но лишь мудрость ошибок и падений, утрат и рас-

плат — только эта мудрость способна увидеть в идеализме суть идеала, которым он порожден. Только эта мудрость, только она имеет право и находит в себе мужество освящать или проклинать такую вот пылающую одержимость глаз, такую беспощадную категоричность слов, такую непоправимую беззапелляционность действия! Только мудрость!

Все же остальные либо отшатываются в робости и испуге, либо восторженно склоняются, чтобы подчинить себя, чтобы стать частью, чтобы получить часть чужой цельности и одержимости.

Сталкиваясь с такой волей и покорившись ей, мужчина хочет умереть, защищая ее, женщина — жить, служа ей!

Так случилось. Через две недели, выходя из городского загса, Таня прижалась к плечу Василия Калиниченко, как жмется молодая сосна к скале перед пропастью, отдавая всю силу и цепкость своих корней пригревшим ее уступам. Они шли по улицам города, которому так и не суждено было стать ее городом.

Капитана безопасности Василия Калиниченко за самовольные действия и нарушение законности переведили в один из отдаленных районов области начальником отдела по борьбе с бандитизмом. Ему предстояло искупить вину, которой он не чувствовал, которой вообще не было в его понимании вины. И когда шли, прощааясь с городом, он говорил ей, что еще вернется сюда, что еще рассчитается и с городом, и с теми, кто, потакая врагам, посягает на принципы революционной борьбы. Он был уверен, что рано или поздно его взгляд на вещи будет признан единственным верным. Это случится, когда демагоги и оппортунисты, потерпев крах в своих методах, поймут, что революция не делается в белых перчатках, что меч «железного Феликса» не экспонат музея, а оружие, выкованное в горниле классовых битв.

Еще он говорил ей о великом интернациональном братстве, которое скоро должно прийти на смену национальным различиям, только порождающим вражду и ненависть.

Таня слушала его внимательно, но не столько, что он говорил, сколько — как говорил. А говорил он языком героев книг, на которых она выросла, но которые все же были лишь книжными. В жизни же все казалось обыденнее и скучнее. И вот ей повезло! Она встретила человека, который воплощение этого духа книжных героев — бесстрашного и непоколебимого человека... К тому же у него русые волосы, голубые глаза, он высок и строен, он строг и умен, и он любит ее. Она понимала, что если он и полюбил ее, то только за внешность. Он, конечно, думает о ней лучше, чем она есть на самом деле. Но она схитрит. Она не скажет ему, какая она есть, она тихонько станет такой, какой он хотел бы ее видеть. И когда она такой станет, пусть он думает, что она всегда была такой, что он не ошибся.

А сейчас она лишь глупая девчонка. И потому, что бы он ни говорил, она не может не любить этот город, который подарил ей счастье. Потом, позже, она обо всем подумает серьезно и все поймет, не дура же она! Но сегодня вечером, перед тем, как сесть в поезд, она тихонько скажет: «Спасибо тебе, зеленый город!» И ему не нужно об этом знать...

Они остановились на маленькой площади напротив церкви. Они должны были расстаться до вечера. Ей нужно в гостиницу за чемоданом, ему — закончить какие-то формальности в управлении. Но в момент, когда она уже решилась оторваться от него, распахнулись двери церкви, и под шум голосов вышли новобрачные. Невеста была в длинном белом платье и на груди ее красовался белый бантик, лентой свисая чуть не

до пояса. На голове — маленькая резная корона и от нее назад, до самой земли — белая фата. Жених в элегантном черном костюме, из-под которого выглядывала расшитая украинским крестиком белая косоворотка, и на груди у него — тоже белый бант, только лента длиннее, чем у невесты. Невеста была такая же черноглазая, как Таня, а жених такой же белокурый и светлоглазый, как Василь, только чуть ниже ростом.

Они сошли со ступенек церкви. За ними появилась целая толпа, наверное, друзей. Потом на ступеньках показались две пожилые пары. Родители. И новобрачные, и все остальные были веселые и счастливые. Они галдели, сипали шутками, обнимались. Они шли прямо на Таню и Василя, и у Тани вдруг сердце сжало так, что слезы выступили на глазах. Они с Василем были такие одинокие, ненужные в этом городе — никому, ни одному человеку не было до них дела, и даже никто не знает, что они час назад стали мужем и женой! Василь был красив истроен в своей полувоенной форме, но сейчас ей до отчаяния захотелось увидеть его в черном костюме с белым бантом. А как бы подошла к его мужественной шее украинская косоворотка! А какой была бы она под белой фатой, в туфлях на каблуке!

Процессия приближалась. Их разделяли два-три метра. Они стояли на пути новобрачных, им нужно было отойти в сторону. Василь было уже сделал движение, но Таня вдруг почувствовала, что если они сейчас отойдут, если, не заметив их, пройдут мимо эти люди, пьяные от счастья и любви, ей будет так больно, что она разревется у всех на глазах. И она, оставив Василя, бросилась к невесте, обняла ее и расцеловала в обе щеки. Тотчас же и она, и Василь оказались в гуще этой нарядной толпы, кто-то ее обнимал, кто-то даже целовал. Краем глаза она увидела, как жених обнимал Василя. Их пытались утащить за собой к прохожим, что стояли за углом, но они с трудом выскользнули из толпы в ближайшем переулке и вернулись на площадь. Таня снова прильнула к мужу. Но когда взглянула ему в лицо, улыбка ее умерла. Оно было каменно непроницаемым, почти чужим, почти таким, каким бывало, когда он говорил о врагах. Она уже знала эту маску, этот невидящий взгляд и окаменевшие скулы. Она уже знала и не раз за две недели их знакомства со страхом думала, что когда-нибудь эта маска будет надета от нее! И, конечно, виновата она. У нее задрожали губы...

— Ты поступила глупо!

Таким голосом на вокзалах объявляют прибытие поездов. Таким голосом, наверное, выносят приговоры.

Знать, уж больно жалко она выглядела, потому что взгляд его немного оттаял, и она почувствовала руки на своих плечах. Потом где-то на самых краешках губ мелькнула улыбка. Мелькнула и пропала.

— Мы поговорим об этом в поезде.

Поцеловал он ее хоть и не совсем так, как бы ей хотелось, но уж не так и холодно.

Районный городишко, куда они прибыли, оказался зеленым, уютным и тихим. Им дали настоящую квартиру, где даже был черный ход.

Василь был не требователен к уюту, но любил порядок. Тане жилось легко, потому что она была влюблена в мужа до преклонения. Конечно, она хотела бы, чтобы он больше бывал дома, поласковее был бы и разговорчивее, чтобы к ним приходили гости, чтобы он был внимательнее к ее обедам, платьям и прическам. Но все это было второстепенное. Главное, она хотела бы, чтобы ей никогда не приходилось бояться потерять его или хотя бы не были так длинны ночи, когда приходилось ждать его...

Уже на десятый или двенадцатый день она, глотая слезы, перевязывала ему раненую ногу.

Пришло время, и она взбунтовалась. К ее удивлению и радости, Василь согласился, и она уже через месяц свободно сидела в седле и прилично стреляла из тяжелого нагана.

В ночь перед первой боевой операцией, на которую муж согласился взять ее, к ним в гости пришел начальник отдела Шитов. К этому времени Таня уже почувствовала, что взаимоотношения Василя со своим новым начальником сложились неважно. Шитов оказался рыхлым, среднего роста мужчиной с мешками у глаз. Он неестественно долго тряс ей руку, а руки его были потными... Выпивая, он крякал, чмокал губами. Говорил пошлости и изображал из себя доброго начальника. Зато Василь держался с достоинством. Таня любовалась и гордилась мужем, потому что видела явное преимущество его над Шитовым. Нет, не таким должен быть чекист! Куда ему до Василя! И в седле-то он, наверное, как мешок. Но Таня была любезна, и муж остался доволен ею.

А утром она скакала бок о бок с лихим капитаном, своим мужем, во главе отряда. На поясе у нее висел самый настоящий наган. Это был сон или кадр из фильма, а она была одновременно и героиня, и актриса, и самый счастливый человек в мире.

Но кончился этот день плохо.

Все произошло очень быстро, без ее участия, и она даже не успела ничего понять... Хлопнуло несколько выстрелов, кто-то что-то крикнул, кто-то выматерился, и на земле лежали связанные двое молодых здоровых парней. Они не молили о пощаде, не каялись и не плакали, только зло и презрительно сплевывали в сторону солдат и даже в ее сторону. Один из них был широкоплечий, горбоносый с прямыми черными бровями и шрамом на подбородке, другой — стригенный наголо, широколицый, губастый, с татуировкой на руках.

Все бойцы были почему-то очень довольны, разговаривали громко и как-то слишком громко смеялись, хлопали друг друга по плечам, похлопывали по шеям коней, зачем-то щелкали затворами, чего-то сутились... Таня чувствовала себя отвратительно. Словно кто-то обманул ее, словно сказал ей что-то гадкое и стыдное. И она никак не могла понять, зачем она здесь и что ей нужно делать. Наконец, она услышала голос мужа, выходившего из избы. И ей стало страшно, что он, быть может, тоже доволен, и она боялась взглянуть на него, но когда взглянула, немного пришла в себя и успокоилась. Василь был серьезен, спокоен, без капли самодовольства или позы.

Возвращались тихим шагом, потому что, со всех сторон окруженные всадниками, на подводе ехали пленные.

Это случилось в балке, где отряд остановился напоить лошадей. Все спешились, кроме Тани и трех солдат. Страй и порядок нарушились, кони сбились в кучу, люди тоже. И тут стригенный вдруг соскочил с подводы и, петляя, бросился бежать вдоль балки. Руки у него оказались свободными. Но хотя на некоторое время возникло замешательство, попытка была обречена. Он не пробежал и полста метров, как раздались враз несколько выстрелов и автоматная очередь. Парень обеими руками ткнулся в глину, несколько раз перевернулся по инерции и затих. Таня первая подскакала к нему, бросила лошадь и буквально упала перед ним на колени. Помертвевшая от ужаса, она осторожно повернула его на спину, ткнулась ухом в его грудь и не услышала дыхания, а лишь почувствовала на

щеке что-то мокре и, когда коснулась рукой, увидела кровь. Лоб и подбородок парня были в глине. Но приоткрытые остекленелые глаза и чуть искривившиеся мальчишеские губы придавали его лицу выражение хмельного блаженства, какое бывает у заснувших спянь. Не в силах оторвать взгляда от его мутных молочных зрачков, Таня вдруг заревела во весь голос, навзрыд, как никогда не плакала в своей жизни. Это был даже не плач, а почти истерика и, может быть, она и сознание потеряла бы от ужаса, если бы вдруг над ее головой, как металл по металлу, не раздался голос мужа:

— Немедленно прекрати! Марш в седло!

Она с трудом поднялась, и взгляд ее упал на автомат на груди мужа. Ей даже показалось, что ствол его дымится... но это лишь слезы застилали ей глаза...

— Марш в седло!

Будто плеткой хлестнули слова, будто кипятком ошипали взгляд. Кое-как забралась она в седло, и когда подъезжала к отряду, не столкнулась взглядом ни с кем, кроме того, кто связанным сидел на подводе. Но что было в его взгляде, она уже не способна была понять.

Дома она выплакалась. Потом успокоилась и попросила прощения. Он простил ее. И лишь когда легли спать, она, присев к его щеке, тихо спросила:

— Почему ты такой холодный, Василь?

шная, что ли?» — подумал Дмитрий Петрович, но только он сделал шаг в ее сторону, как она теперь уже обеими руками схватилась за рукав тоже удивленного мужчины, хрюпло закричала, прячась за его спину:

— Это убийца! Задержите его! Это убийца! Он убил моего мужа! Позвоните милицию! Остановите... Это убийца!

Мужчина был не из храбрых, потому как-то забегал глазами, но крик привлек внимание людей в троллейбусе, и на площадке появилось еще несколько человек. Они с любопытством смотрели на Сницаренко и женщину, кажется, не принимая ситуацию всерьез.

А женщина, отступив вглубь, умоляюще обращалась ко всем им, не спуская полных ужаса глаз с Дмитрия Петровича:

— Ну что же вы стоите! Задержите его! Он убил моего мужа! Он убийца! Я узнала его! Не давайте ему сойти! Ну что же вы!

Сницаренко наконец не выдержал.

— Послушайте, если вы в здравом уме, вы просто ошиблись. Я вижу вас впервые в жизни, да и вы меня тоже! Перестаньте кричать и посмотрите на меня внимательно!

Женщина замолчала, беспомощно оглядываясь по сторонам, но было видно, что она уверена в том, что говорит.

— Успокойтесь, — снова заговорил Сницаренко, — где и когда был убит ваш муж?

Но женщина не слушала его, по-прежнему молящим взглядом обращаясь ко всем, кто был рядом. Она не хотела слушать его, словно заранее уверенная в том, что он будет врать и выкручиваться.

— Может быть, вы хотите взглянуть на мои документы? — спросил Дмитрий Петрович.

Но нет, ей не нужны были его документы, ей нужен был милиционер. Ее уверенность передалась окружающим, и в их глазах было уже не любопытство, а что-то напоминающее колючки от колючей проволоки. Нехорошая тишина вошла и повисла тяжелым облаком над Дмитрием Петровичем, и от этой тишины заломило в голове и заныла нога.

«Ну и попал в переделку! — подумал он. — Хорошо, что знакомых нет. А то бы стал героем анекдота!»

— Хорошо, — сказал он, стараясь улыбнуться как можно спокойнее, — хорошо, давайте на следующей остановке выйдем и без крика и шума зайдем в первое же отделение милиции. И прошу вас всех тоже пойти вместе с нами. Потому как, чего доброго, она на середине улицы начнет кричать и звать на помощь. А мне это, знаете ли, как-то ни к чему. Я прошу вас!

Он обратился еще раз ко всем, а их было уже человек десять и все — мужчины.

— Это не займет больше десяти — пятнадцати минут! Его слова и тон немного разрядили напряжение, но не сняли.

Толпой они вышли из троллейбуса, довольно долго шли по каким-то улицам и наконец оказались в отделении милиции. Пока шли, он не видел женщины. Она держалась сзади, точно боялась, что он набросится на нее. Кто знает, что может померещиться больному рассудку. Но как только они оказались в отделении милиции, она снова заметалась и скоро исчезла в одном из кабинетов, куда немного погодя пригласили и Сницаренко со всей свитой. Пожилой майор вежливо и неторопливо ознакомился с его документами, задал пару уточняющих вопросов, но, оставаясь беспристрастным, документов все же не вернул Дмитрию Петровичу, а положил их на стол перед собой. Он, видимо, готовился к длинному, обстоятельному допросу «потерпевшей», но Дмитрию Петровичу вся эта комедия изрядно надоела, и он жестом руки остановил майора, вынул записную книжку, отыскал нужную страницу и положил ее на стол.

V

18 лет спустя

Эта поездка против всех предчувствий оказалась очень удачной. Ему удалось выхлопотать через управление «Сельхозтехника» запчасти для комбайнов и резину своим шоферам. Учитывая острый дефицит, это была неслыханная удача, которая со временем обойдется ему лишь в бутылку коньяка. Ну, а совещание было такое же, как и все предыдущие и все будущие, — как всегда, никому не нужное, кроме областного начальства, да и то чтобы лишь поставить «птичку». Перемалывалась какая-то белиберда о так называемых планово-убыточных хозяйствах, была непрерывная в этих случаях лекция о международном положении, кто-то скучно делился опытом, начальство в плановом порядке разгромило в пух и прах одного из директоров в назидание другим. В общем, за эти шесть часов Дмитрий Петрович успел прочитать специально приобретенный в киоске сборник рассказов про комиссара Мегрэ и умудрился выйти с совещания не только не уставший, а даже, напротив, с легкой головой человека, прилично отдохнувшего.

Володя должен был подогнать машину к зданию совнархоза в шесть часов. У него было в запасе целых пять часов. На этот раз Дмитрий Петрович не взял никаких поручений в город от жены, и эти пять часов принадлежали ему. Он купил газету, просмотрел программу кинозалов, выбрал и пошел к троллейбусной остановке. Народу было мало, и троллейбус появился скоро. Он вошел, но не сел, а остался на входной площадке, намереваясь согреться и высокочить через эту же входную дверь.

На третьей остановке в троллейбус вошла пожилая женщина и уже прошла было мимо Дмитрия Петровича, но вдруг остановилась, резко повернулась к нему, и глаза ее расширились от неожиданности и, наверное, от страха, потому что лицо ее перекосило, а руки схватились за сердце. Сницаренко удивленно уставился на нее. Но только он подумал спросить, что с ней, как вдруг она схватила за рукав стоящего рядом и боком мужчину, и, когда тот повернулся, она, показывая рукой на Дмитрия Петровича, прошептала:

— Убийца!

Мужчина недоуменно посмотрел на Сницаренко, потом на нее, потом снова на Сницаренко. «Сумасшед-

— Позвоните, пожалуйста, в областное отделение госбезопасности вот по этому телефону и передайте мне трубку.

Майор взглянул на Сницаренко, затем некоторое время рассматривал страницу с номером, еще раз взглянул на Дмитрия Петровича и набрал номер. Получив ответ на вопрос «кто», передал трубку. Сницаренко старался говорить спокойно. Присутствующие ловили каждое его слово, пытаясь отгадать ответы на том конце провода.

— Саша? Это Дмитрий. Добрый день!.. Порядок... Не смог... Я же говорю, не смог... Послушай, ты очень занят? Тогда приезжай срочно.

Сницаренко оторвался от трубки.

— Не заметил номер вашего отделения. Третье отделение... В третье отделение милиции... Нет, срочно... Давай.

Когда он положил трубку, майор достал пачку сигарет и протяну ему.

— Закурите? С фильтром.

— Не курю. Спасибо.

Дмитрий Петрович убрал в карман записную книжку. Наступила неловкая тишина. Наконец майор решился внести хотя бы маленькую ясность.

— Гражданка Калиниченко, конечно, могла ошибиться. Ведь прошло столько лет...

Молния, прямая, ослепительная, острыя, ударила в висок Дмитрию Петровичу.

— Как ваша фамилия? — растерянно спросил он женщину.

— Калиниченко! — выбросила она ему в лицо, не скрывая торжества. — А мужа моего звали Василий Григорьевич Калиниченко.

Потом тихо и устало добавила, не глядя на него:

— Я узнала вас сразу.

— Когда был убит ваш муж? — спросил сразу насторожившийся майор.

Она ответила.

«Да что же это? Сплю я, что ли? Этого не может быть! Бред!» Все, что было в нем от разума и от веры, все кричало в нем отчаянным воплем: «Ложь! Ложь!»

Он резко поднялся со стула, всем корпусом повернулся к женщине так, что она вздрогнула и вросла в стул, а майор поспешно приоткрыл столешницу.

— Зачем вы лжете? Мне не известна дальнейшая судьба вашего мужа, но тогда его никто не убивал! Зачем вы лжете? Отвечайте!

Недоумение было на лицах всех присутствующих. Происходило необычное. Либо чудовищная, трагическая ошибка, либо... подлость людская безгранична! А что может быть еще третье? Человек либо виновен, либо не виновен. Разве жизнь способна создать что-либо внеэталонное? Поступки человека могут быть предопределены массой обстоятельств, поступки человека могут быть оценены лишь строго однозначно, ибо в противном случае кто отличит добро от зла?..

Она рассказывала. Но не ему. Говорила тихо. И было ясно, что она не заплачет, потому что слез у нее давно уже нет.

— Когда его принесли в дом, он уже умер... Все три пули в грудь...

— Пули... — пробормотал Сницаренко. — Пули...

Что ж, значит, действительно все так и было! Боже! Он ведь чувствовал тогда, что произошло что-то грязное. Чувствовал, но не хотел знать, потому что знал себя чистым. Ведь несколько раз он хотел поинтересоваться судьбой Калиниченко, Шитова, но не сделал этого. Почему? Что останавливало его? Боялся? Чего? Впрочем, что об этом? Он убийца! Убийца,

потому что убил. Убийца, потому что верил, что в жизни достаточно верить! И это снимает ответственность думать и отвечать за весь мир. Нет, он и сейчас уверен, что вера его была истинна. Но почему в комплекс его веры не входило собственное сердце? Оно же ему дано, это высшее мерило всего на свете! Но оно оказалось загнанным глубоко внутрь и атрофировано духовным безволием, всеподавляющей субординацией действий и поступков. Так было легче жить и легче умереть. Но не имут сраму мертвые. Калиниченко был мерзавец. Но Калиниченко умер. А он выжил, и ему теперь отвечать за все и перед собой, перед этой женщиной, которую он, по существу, тоже убил той кошмарной ночью, когда был подведен итог его веры в правоту исполнения.

Он виновен! Виновен! Чутье подсказывало ему, что совершается подлость, но он не захотел усложнять себе жизнь. И теперь он — убийца. Убийца по своим и человеческим законам. И ничто не спишется, ничто не оправдает... Он преданно, но бездумно служил идеи, и смысл этой идеи был — будущее. Но не понимал тогда, что нет ни прошлого, ни будущего, есть лишь человек, в любую минуту единий и неотделимый и от своего прошлого, и от своего будущего. Всегда и везде есть лишь один человек, и человек этот перед судом, который лишь удалился на совещание, но в любую минуту может появиться. И вытянется человек, и выслушает приговор. Приговор, который обжалованнию не подлежит...

В комнату вошел полковник госбезопасности. Дружески поздоровался с Дмитрием Петровичем, деловито — с майором, приветливо с остальными. Сницаренко уловил момент и кивнул полковнику на посторонних.

— Посторонних прошу выйти, — тотчас же отреагировал полковник, еще не зная, кто здесь посторонний.

Когда остались вчетвером, Сницаренко снова выбрал минуту и кивнул на майора. И майор был деликатно выдворен из собственного кабинета, не проявив при этом никаких чувств, кроме готовности к подчинению.

— Саша, у этой женщины восемнадцать лет назад убили мужа. — Дмитрий Петрович повернулся к ней: — Повторите, кого вы считаете убийцей вашего мужа.

— Вас.

У полковника подлетели брови. Он вопросительно, непонимающе уставился на Дмитрия Петровича.

— Вот, собственно, то дело, по которому я звонил, — ответил Сницаренко, отходя от стола в глубь комнаты.

Полковник по-своему понял Дмитрия Петровича и подсел к женщине.

— Как вас зовут?.. Так вот, Татьяна Алексеевна, я, разумеется, еще не в курсе, но в данном случае это даже несущественно. Не хочу думать, что вы оговариваете товарища Сницаренко. И заявляю вам совершенно твердо и категорично, что вы ошиблись.

Она хотела что-то сказать, но он не дал ей.

— Я выслушаю вас, но вот что хочу вам сказать предварительно. Дмитрий Сницаренко прошел со мной всю войну от сержанта до командира взвода. Я лично в свое время рекомендовал его в органы, где он проявил себя настоящим чекистом и коммунистом. За ликвидацию крупной бандеровской группы был награжден орденом. Причем был серьезно ранен во время боя. Уже шесть лет он работает директором совхоза в нашей области, и ни одного дурного слова никто не сказал о нем за все это время. А ваше предположение несостоятельно уже в силу того, что такие люди, как Дмитрий Петрович, никогда не могут быть, ну, скажем, по природе своей, просто даже причастны к какому-либо грязному делу. На таких людях, Татьяна Алексеевна, стоит наша власть, ими она утверждалась, ими отстаивалась и укреплялась...

А сам Сницаренко стоял в стороне, слушая дифирамбы в свой адрес, и думал: «Командир ты мой, дорогой товарищ полковник! Знал бы ты, что говоришь! Да знаешь ли ты сам, где пролегает грань между чистым делом и грязным? Да и так ли чисто прошел ты сам от капитана разведроты до полковника госбезопасности? Не поджидает ли тебя на какой-нибудь трамвайной остановке постаревший кусок прошлого? Думаешь, поди, что все списалось, все очистилось и оправдалось? Но вот для одного из нас пришло время ответа. Для меня. А следующий не ты ли? Мы оправдывались идеей. Чем оправдают нас? Хорошо тем, кто умер!»

Полковник выговорился. Сницаренко подошел к нему.

— Татьяна Алексеевна, в ближайшее время вы получите именно от меня подробное объяснение всему случившемуся с вами и вашим мужем. Оставьте мне ваш адрес и возьмите мой. Поверьте, я никуда от вас не денусь. Но потерпите несколько дней, и все выяснится.

Когда, уставшая и подавленная, она вышла из комнаты, Сницаренко сказал:

— Саша, помоги мне найти одного человека... Шитова Илью Захаровича! Если он жив... Плохо, если умер... Тогда я...

VI

18 лет назад

Шитов запил с того дня, когда вернулся из области, куда вызывали его по доносу Калиниченко. Тот обвинил его в содействии националистам, в срыве операции по захвату банды, в пособничестве предателю Сницаренко. В области Шитова приняли холодно, хотя и знали о его намерении не посвящать начальника ОББ в курс дела.

— Зачем нужно было устраивать эту комедию? — спрашивали у него.

— Для большей достоверности, — отвечал Шитов.

Он, конечно, выкрутился. Но ему дали понять, что в случае неудачи он поплатится за все. Если в ближайшее время бункер не будет найден, то те шесть человек, которых он увел из-под носа Калиниченко, обойдутся для него в лучшем случае преждевременной отставкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. А не дай Бог что-нибудь случится с Дмитрием!

Шитов запил. Уже шесть дней от Дмитрия не было вестей. И Шитов пил. С мольбой и страхом из дальнего угла комнаты следила за ним Ирина. Ее единственное оружие — ласка — оказалось бессильным против паники и отчаяния, охвативших Шитова. Он не подпускал ее к себе. Он не разговаривал с ней, он не замечал ее, а если и замечал, то раздражался до такой степени, что мог побить.

Он запустил работу, и Калиниченко постепенно прибрал к рукам отдел. Следователи и оперы перешептывались и шли за нужными советами в кабинет начальника ОББ, минуя Шитова. Шитов же все было безразлично. Он понимал, что погиб, если операция провалится, но и был уверен, что в случае удачи он в один день все поставит на свои места. Начальника ОББ он видеть не мог. В области он наконец узнал причину его перевода, и хотя сам не был чистюлей, и душа была полна греха, тем не менее Калиниченко стал вызывать в нем чувство брезгливости.

Может быть, правда, это было не совсем так. Бывает, что найти человека, который хуже тебя, значит доставить себе радость, потому что на этого человека можно излить все накопившееся презрение к самому себе. Так или иначе, с Калиниченко он почти не встречался.

А тот, чувствуя агонию своего начальника, интенсивно внедрял в работу отдела свои методы, открыто игнорировал Шитова, позволяя себе небрежные замечания в его адрес в присутствии офицеров отдела.

Но методичный, рассудительный Калиниченко недооценил Шитова. Не учел он те невероятные цепкость и хитроумие, что рождаются в русском характере в момент отчаяния. Нет тогда ему ни пределов, ни границ, через все переступит, через все пройдет, и горе вставшему на пути! Сколько великих, но чужих умов сломали себе голову только потому, что принимали агонию врага своего за несомненный признак гибели, но агония вдруг превращалась в невиданную, необъяснимую силу, остановить которую и обуздить уже не могло ничто. А добро рождала эта сила или зло — зависело лишь от тех условий, в которых она выявлялась...

Случилось худшее. Дмитрий, побывав в бункере, так и не узнал его расположения. Сначала все шло хорошо. Как и советовал Шитов, Дмитрий, ночью заявившись к Гнатюкам, начал давить на жену и сына, требуя связи, угрожая и шантажируя. Наконец мальчишка, пошептавшись со старухой матерью, исчез из дома. Ждать пришлось часа полтора. Вернулся он один, но указал Дмитрию направление, в котором он должен идти от деревни и где его должны встретить. Путь Дмитрия лежал по самой границе кукурузного и картофельного полей. Когда он прошел с полкилометра, вдруг неожиданно был схвачен сзади несколькими руками, обезоружен и ослеплен вонючей тряпкой. Напрасно пытался он определить направление, в котором его повели. Люди действовали умело. Так что, когда наконец остановились на окрик пароля, Дмитрий не был даже уверен, что его не привели назад в деревню. Потом был спуск на ощупь, потом его посадили на стул в освещенном помещении. Тряпка чуть просвечивала. Допрос начался при завязанных глазах. Голос был спокойный, ноластный. Дмитрий изложил легенду, разработанную вместе с Шитовым, безукоризненно ответил на провокационные вопросы — в общем, сделал все, что от него требовалось, не допустив ни одной ошибки.

Затем, не развязывая глаз, его отвели, по-видимому, в отдельную комнату, в полной темноте сняли тряпку и толкнули на матрац. В комнате было еще несколько человек, которые почти не разговаривали между собой и словно не замечали присутствия Дмитрия, который, между прочим, уснул сразу, как только лег.

Неизвестно, сколько прошло времени, пока он спал, но, кажется, немало, потому что давал себя знать голод и голова болела, как с пересыпью. В темноте его покормили, снова завязали глаза, и снова начался допрос. По характеру вопросов Дмитрий понял, что в бункере известно, что в районе его ищут, но был ли Калиниченко в деревне, установить не удалось. Допрашивал тот же самый человек. Но допрос был труднее. На этот раз интересовались качеством и подлинностью его националистических убеждений. Предварительно ознакомленный с националистической литературой, Дмитрий отвечал на вопросы достаточно убедительно, но внутри не было на этот раз уверенности, что говорит правильно. Постановка вопросов оказалась столь своеобразной, что брошюровыми фразами отделаться было невозможно, приходилось выкручиваться, вживаться в тематику, сохраняя при этом нужный тон и стиль. Потом были снова темная комната и еще допрос, и затем долгое, как сама бесконечность, ожидание, которое показалось ему месяцем, а было неделей. Лишь на десятый день ему снова завязали глаза и привели в то же помещение. На этот раз

голос, говоривший с ним, был сухим, более резким. Ему сообщалось, что он принимается в организацию украинских националистов и что ему поручается первое боевое и, понятно, проверочное задание. Был зачитан документ, в котором говорилось, что комитетом организации за такие-то и такие-то действия предатель украинского народа офицер госбезопасности Василь Калиниченко приговорен к смертной казни. Привести приговор в исполнение поручается ему, Дмитрию Сницаренко. Согласия его не спрашивалось. После этого был подъем по крутым ступенькам, долгое плутание по пашне, кукурузе, картофелю, дороге, и, когда Дмитрию сняли повязку, была ночь, впереди огнями мерцала та же деревня, а голос сзади приказывал идти вперед и не оглядываться. Оба пистолета ему вернули...

Шитов неприятно поразил Дмитрия. С мешками у глаз, небритый, с запахом винного перегара изо рта, он был весь какой-то раскисший, опустившийся и нечистый. Встретил его радостно и даже как-то ожидал и подтянулся. Но только в первые минуты. Когда выяснилось, что Дмитрий пришел с пустыми руками, остекленел, сник, упал локтями на стол и долго так сидел, забыв про Дмитрия, только чуть покачивался из стороны в сторону да иногда прищептывал матерное слово...

Немного спустя поднял голову и моляще уставился на Дмитрия.

— Ну что, Димка! Неужто ничего не придумаем? А?

Дмитрий пожал плечами.

— Может, инсценировать покушение?

— Инсценировать! Это тебе не театр! Война!

Но при этих словах вдруг съежился и стал похож на крота, высунувшегося из норы.

Постелил Дмитрию тут же на диване, а, когда тот начал раздеваться, спросил:

— Пистолет цел? Отдай.

Сунул его в карман, буркнул «спокойной ночи» и погасил свет. Дмитрий до тех пор, пока не уснул, слышал в соседней комнате его шаги и, уже засыпая, просто так отметил про себя, что шаги стали тверже.

Когда он проснулся, Шитова не было. Молчаливая Ирина покормила его и переодела, видимо, по указанию Шитова, в чистое белье, которое было ему широко и коротко. Дмитрий пытался вытянуть Ирину на разговор, но она двумя-тремя фразами дала ему понять, что разговаривать в ее функции неходит.

Он просмотрел свежие газеты, прослушал радио, почистил пистолет. Тот Шитов, что пришел к вечеру, был не похож на вчерашнего, но не похож был и на обычного Шитова, каким его знал Дмитрий. Какая-то злая решимость была во всех его движениях, во взгляде, в тоне голоса. Что-то колючее и предостерегающее появилось в нем. Дмитрий почувствовал это, но разбираться не хотел...

Оказалось, что принят план инсценировки убийства начальника ОББ, что сам он, Калиниченко, дал согласие и в курсе всей операции, что после инсценировки до окончания операции Калиниченко будет временно спрятан...

Дмитрий, между прочим, спросил:

— А это верно, что Калиниченко расстрелял...

Шитов не дал ему договорить.

— Не нашего ума дело. Кому надо, тот спросит; кому надо, тот ответит.

И Дмитрий ушел заканчивать операцию. Он уже не видел, как в течение двух часов, пока по стеклам не щелкнуло эхо отдаленных выстрелов, глушил Шитов

рюмку за рюмкой, как носился он по комнате, вслушиваясь в темноту, как глотал какие-то таблетки и порошки, как подгнившим сухостоем рухнул на диван, когда стекла окон тонким дребезжанием пропели «фигита» — кончено...

Три холостых патрона, которые в присутствии Дмитрия Шитов зарядил в браунинг, хлопнули, как настоящие. Калиниченко очень правдоподобно переломился пополам и прямо лбом грохнулся на землю.

Дмитрий, успевший это заметить, прежде чем исчезнуть, искренне пожалел начальника ОББ, у которого наверняка завтра, и надолго, будет синяк на лбу. Он успел также заметить, как взорвалось страхом хорошенькое лицо молодой жены Калиниченко, и подумал, что для правдоподобия ее могли не предупредить, вдруг кто-нибудь следит за всем этим. Могли не предупредить, они ведь оба на это способны — что Шитов, что Калиниченко...

А через несколько дней с боем был взят бункер. Дмитрий получил тяжелое ранение и был отправлен в областной госпиталь, где перенес одну за одной две операции, где узнал о своем награждении и где наотрез отказался оставаться в органах. Вскоре был откомандирован на Урал и никогда больше не встречался с Калиниченко. А с Шитовым...

VII

18 лет спустя

Восемнадцать лет спустя Дмитрий Петрович Сницаренко шел улицами дачного поселка благодатной черноземной полосы России. Крашеные домики, как улья, высовывались из зеленых омутов садов, пестрых клумб с яркими цветами. Ягоды малины свисали на дорогу сквозь плетеные заборы, выше, над головой, нависали яблочки и черные гроздья черемухи.

У калитки, открывающей путь в одно из гнездышек, Сницаренко остановился, просунул руку в специальное отверстие, отодвинул щеколду и вошел в сад, в другом конце которого сквозь аллею низеньким крашеным крыльцом выглядывало жилище хозяина этого райского уголка. У крыльца его встретил мальчик лет двенадцати с тонким, нежным лицом и девичими бровями.

— Это мой папа, — ответил мальчик на вопрос Дмитрия Петровича, — они с мамой на огороде за домом.

И он пошел вперед, показывая проход среди клумб и кустов крыжовника.

Итак, Илья Захарович Шитов — отец. Этого Сницаренко не предполагал. Разумеется, ничего не менялось, но Дмитрий Петрович сейчас не хотел бы спешить с решениями. Но мальчик шел быстро, и времени на размышление не было.

Шитов с женой сидели на корточках у грядки, что-то внимательно рассматривая, и не увидели появившегося из-за угла Сницаренко.

— Папка! — крикнул мальчик, пальцем показывая на гостя, и тотчас же убежал назад.

Медленно, очень медленно подходил Дмитрий Петрович к Шитову. Видно, что-то было в его лице — по мере его приближения так же медленно выпрямлялся и деревенел старый, седой Шитов. И его старая, поседевшая жена, чутьем женским почувствовав беду, появившуюся из-за угла, так же медленно тянула к горлу сцепившиеся руки.

«Встать! Суд идет!» — сказал Сницаренко.

Нет, он этого не говорил. Он сказал: «Здравствуй, Шитов!»

«Виновен», — ответил Шитов.

Нет, он сказал: «Здравствуй, Дима!»

«Не надо!» — закричала жена Шитова.

Нет, она не закричала. Она тоже сказала: «Здравствуйте», — хотя Дмитрий не поздоровался с ней, наверное, потому, что не мог оторвать глаз от человека, который на всю жизнь сделал его убийцей и был убийцей сам.

Руки Шитов не подал, хотя долго и тщательно вытикал их о фартук, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями. И по лицу его чувствовалось, что это ему трудно: в смятении был Шитов, постаревший Шитов. Заметил, однако, Сницаренко в его лице и во всем облике нечто такое, чего не помнил в нем. Старость сидела на плечах у Шитова, а глаза, кажется, были моложе прежнего...

— Ну что, в дом пойдем. Гостем будешь... — неуверенно и без особой радости проговорил наконец Шитов, по-прежнему не подавая руки, прошел мимо Сницаренко, попытался дружелюбно улыбнуться, но улыбки не получилось.

Когда уже заворачивали за угол, Дмитрий Петрович машинально оглянулся. Ирина стояла все так же, сведя руки к горлу, и на лице ее была тоска...

Они сели друг против друга у низенького стола в комнате-светелке, где украинский акцент чувствовался в каждом пустяке, да и сам Шитов был в украинской косоворотке с расшитым воротничком, и это удивило Сницаренко: он помнил, как Шитов в былье времена не выносил ничего украинского.

Лицо его было спокойно.

— Говори, Дима, зачем пришел. Вижу, что не с добром: Вольнику тянуть не будем... Бывшие солдаты оба. Давай...

Шитов вяло махнул рукой и уставился куда-то мимо Сницаренко. И ничего, кроме усталости, не было в его взгляде.

— Время пришло, Илья Захарович, платить по счетам. Когда-то ведь за все приходится платить. Нынче наша с вами очередь.

Дмитрий Петрович говорил тихо и сам удивлялся, почему нет в нем злости к Шитову, о ненависти и говорить не приходилось. Разговор начался не так, как должен был начаться, но ничего изменить он не мог, потому что изменилось в нем что-то, и лишь безвыходность собственного положения вынуждала к разговору.

— Так. Значит, справедливость пришел восстанавливать, то есть Шитова — к ногтям!

Уж чего-чего, а вот такой враждебности услышать в голосе Шитова Сницаренко не ожидал никак, потому удивленно ответил:

— Мне кажется, Илья Захарович, ко мне вы не можете иметь претензий, я ведь уже сказал вам, что сам...

Шитов перебил его грубо и зло.

— А дела мне нет до тебя, милейший! Дела нет! Понял? Чувствуешь себя виноватым, ну и на здоровье! Иди, распнись! А я тебе, дураку, только плюну вслед! Понял! Ишь ты! Справедливость пришел восстанавливать! А может быть, она уже давно восстановлена! Здесь!

Он стукнул себя в грудь.

— А может быть, я уже все муки человеческие принял и отпущение получил! Да что ты знаешь о справедливости! Ожал, поди, что на коленки брошусь, сопли на кулак наматывать стану! Чертя лысого! Понял! Не только себя, листочка с самого паршивого своего дерева обидеть не дам! Ничего не знаю и знать не хочу! При тебе пистолет заряжал? При тебе или нет, спрашиваю?

— При мне... — пробормотал вконец растерявшийся Сницаренко.

— Ну вот, и выпутывайся сам. Может, ты его перезарядил потом, а я, дружок, холостые вставлял.

Да и вообще я никаких приказаний тебе не давал. Сам ты все натворил! Выслужиться захотел! А я слухом не слыхивал ничего. И знать не знаю, кто эту гадину укокошил, ты или националисты. Вот такая моя прогрессивная, Дима!

Шитов закашлялся, схватился за сердце, побледнел.

— Что же, все на меня хотите свалить, Илья Захарович?

Казалось, Шитов выкричался да и выдохся.

— Я тебя искал, Дима? Нет. Я тебя за язык тянул? Не тянул. Не дамся! Кусаться и царапаться буду до последнего. Не дамся! И не жди, Дима!

— Это ваше право, Илья Захарович! Но я за эти дни многое понял...

— Понял? Многое? — ехидно перебил его Шитов. — Да ты еще, Дима, сотовой доли не понял из того, что тебе понять предстоит... А может быть, и не предстоит... Так и проживешь кутенком непрорезевшим. И как знать... — добавил Шитов, — может, для тебя так оно и лучше будет, а то вдруг силенок не хватит переварить все... А сейчас вот кота за хвост ловишь и уважения к себе преисполнен.

Зубы заговаривал Шитов.

— Илья Захарович, меня опознала на улице жена Калиниченко. Она требует справедливости... Ведь мы убили...

Шитов криво усмехнулся.

— Убили, говоришь! Кого? Ее мужа? А сколько мы еще убили? За них кто-нибудь требует справедливости? Старуха Гнатючиха от разрыва сердца померла на допросе, мальчишка ее в лагерях сгинул, старик Гнатюк кровью изошел — кто-нибудь за них требует справедливости? А?

— Путаете, Илья Захарович! — Сницаренко еле сдерживал злость: — Путаете! Была война, и были враги! Вы же своему против своего пистолет в руку вложили!

— Это кто, я путаю?! — опять взорвался Шитов. — Я восемнадцать лет руки от крови людской землицей очищаю, а они все пахнут! В сына своего по утрам всматриваюсь — по наследству не передал ли! Да кто вправе судить меня! Есть ли хоть один, кто вправе?! Молодые — по молодости права не имеют, старики — по подлости! Своего, говоришь, убил! Вот когда он мне был свой, тогда и судить надо было! Теперь же пусть судят либо за все, тогда и всех, и себя..! Либо за все и всех, либо я не виновен! А дурочке этой расскажи, сколько невинных ее муженек на тот свет отправил и сколько еще бы ухлопал, если бы я его по корысти не убрал! А судить старика Шитова только за то, что одну гниду извел, так это не справедливость! Это — от жилетки рукава! И давай покончим наш разговор, Дима. Делай, как знаешь, а я сам по себе.

Вдруг Шитов перегнулся через стол вплотную к Сницаренко.

— Не верю! Не верю я тебе! Не верю, что справедливости хочешь! Думаешь на меня свалить, а сам по смягчающим выкарабкаться!

Дмитрий Петрович встал из-за стола, отошел к окну, открыл шторку. Под яблоней сидел на корточках сынишка Шитова и терпеливо что-то выстругивал складным ножом. Безмятежное спокойствие было на его бледненьком личике. Был он в мате, но должно было в нем быть что-то и от отца, чего Сницаренко, однако, найти не мог. А почему-то очень хотелось найти, будто ответ на какой-то вопрос.

Когда повернулся к Шитову, не узнал его. За столом сидел старик, бессильный и уставший, и Сницаренко вдруг понял, что не будет Шитов защищаться, а положит голову седую на плаху и глаза закроет.

Итак, все встанет на свои места. Преступник будет наказан. Свершится справедливость. И упадет на землю в отчаянии и слезах постаревшая жена Шитова,

и омрачится вечной печалью бледненькое лицо мальчика под яблоней. А если не так? Дмитрий Петрович представил себе квартиру в далеком сибирском городе, квартиру, в которой живет одинокая женщина, потерявшая мужа и оставшаяся ему верной. Эта женщина жаждала справедливости и была права, потому что жажда эта высушила ей жизнь. У Шитова справедливость своя, какая-то странная и непонятная. Есть и у него, Дмитрия Сницаренко, своя справедливость, ведь, по сути, он не совершал преступления, он никого не убивал, его вина в другом, а это другое подлежит иному суду, где и судья, и защитник будет один и тот же — он сам. Так как же быть со справедливостью?! От него сейчас зависит, будет ли утолена жажда одинокой женщины в далеком городе и станут ли несчастными жена и сын Шитова. Есть же еще и просто справедливость преступления и наказания! Но почему справедливость не может прервать цепочку зла, а продолжает ее? Ну, а он что? Что должен делать он? Взять на себя ответственность? Но с какой стати! У него тоже семья, дети. Так что же?..

Мысли его прервал Шитов. Голос его звучал глухо, беззлобно.

- Сам нашел меня или через органы?
- Через органы.
- Так.

Шитов поднялся, подтянул на себе косоворотку, как проделывал это, бывало, с гимнастеркой, встал чуть ли не по швам, уставился в лицо Дмитрия Петровича. В глазах — обреченность.

— Ну, чего волынку тянуть. Если не один пришел, так зови сюда, чего им под забором прятаться.

— Я один пришел, Илья Захарович.

— Так.

Ничего не изменилось в лице Шитова. Стоял он так же прямо, как перед судом. Стоял молча, смотрел на Сницаренко, но не видел его.

— Прощайте, Илья Захарович, — тихо сказал Дмитрий Петрович и быстро мимо Шитова пошел к двери.

Грохоча сапогами, Шитов нагнал его на крыльце.

— Ты что ж, а...! Снизойти до меня не желаешь! Презираешь! Презирай! Плевать я хотел на тебя! Но уж, будь любезен, скажи, чего ждать! Или сразу собираться?

Шитов задыхался.

— Не пущу, пока не скажешь.

И он встал на пути у Дмитрия Петровича, расставив ноги, заложив руки за спину.

Еще до конца ни на что не решившийся Сницаренко вдруг, казалось, вовсе против своей воли и тем удивительней, четко проговорил:

— Считайте, что я у вас не был.

До калитки шел быстро, чуть не бегом, и все же у калитки Шитов снова нагнал его и встал на дороге. На глазах были слезы. Слезы были и в горле, потому и не мог сразу сказать, что хотел.

— Дима, прости! — прошептал он уже как-то совсем по-стариковски.

Сницаренко кивнул ему, и убийцы расстались навсегда.